

**Илона
ДОМАРЕВА**
г. Ставрополь

ДЕД

Я села на дневной автобус, чтобы успеть в станицу до первой звезды. Ровный ландшафт потянулся за автобусом белой лентой, как только мы выехали за черту города. За окном, заляпанным жирными отпечатками, лишь скучные поля, засыпанные снегом. Воспоминания укачивали меня всю дорогу...

Наконец моя остановка. На выход по салону я пробиралась одна, пачкая светлые ботинки в грязных лужицах растаявшего снега, которые скопились в проходе автобуса. Какая-то бабулька в коричневом пуховике злобно посмотрела на меня и беззвучно зашевелила тонкими губами. Бросив на неё взгляд, я сразу поняла, что когда-то у этой женщины было красивое лицо. И сейчас оно сливочного цвета, с редкими морщинами под слоем пудры — напоминает растрескавшееся личико фарфоровой куклы, а на нём — тоже будто кукольные, большие яркие глаза под нарисованными бровями. Почему-то попутчица напомнила мне бабушку Мишу.

На остановке я спрыгнула с подножки автобуса на примятый снег, тишина сомкнулась вокруг меня, спрятав от людской суеты. После пазика, непрерывно фыркающего, как рассерженный кот, эта тишина казалась мне абсолютной.

Из достопримечательностей в этой глуши только заколоченный киоск, на котором грубо намалёвано «СОКИ, ВОДЫ», и немного пугающая своим видом остановка — Змей Горыныч с отбитой головой. Снега немерено — намного больше, чем в городе. Впереди — овраг с чёрным леском, сквозь сплетенные ветви проглядывают избы. Из печных труб поднимается дымок: местные топят печи. Воздух чистый, мороз кусачий.

Выдохнув облачко пара, я шмыгнула носом. Приехала я в станицу не просто так. Сегодня сочельник — нужно проведать своих. А дед часто говорил, что шестого января, в те часы от рассвета и до первой звезды, возвещающей о рождении Иисуса, можно сотворить настоящее чудо или узнать такую тайну, которая способна изменить всю жизнь.

Старый автобус, украшенный облезлой мишурой, дребезжа и подпрыгивая, покати



*До
первой
звезды*

рассказ



прочь по нерасчищенной дороге. Я осталась одна. Будто перед прыжком в крещенскую ледяную воду потопталась на месте, собираясь с силами, наконец пошла в сторону жилых домов. Дыхание перехватывало от мороза.

И снова — воспоминания.

В крещенскую купель я окуналась лишь однажды — вместе с дедом. Мне было лет двенадцать, а ему — за семьдесят. Я знала, что он морж, и это всегда меня веселило. В детских фантазиях я видела его большим глянцевым зверем с лапами вместо рук, с длинными клыками и усами — такими густыми метёлочками, какие бывают на хвостах у цирковых пуделей. То, что усы у моржей больше похожи на иглы, я узнала позднее.

Помню, как дед разбудил меня посреди ночи и предложил окунуться в прорубь, а я, не задумываясь, согласилась. В это время бабушка спала в другой половине дома. Бодрствуй она, деду, разумеется, влетело бы.

Бабушка стелила мне в самой дальней комнате на старой металлической кровати, под которой держала закрутки. Кровать была с сеткой, с тяжёлыми набалдашниками и каждый раз взвизгивала, когда я переворачивалась. Сразу за моей комнатой начинался студёный коридор, ведущий к дополнительному выходу из дома. А там — деревянная дверь, такая ароматная, особенно во время дождя. На ней восковыми потёками застыли капли смолы, которые я отколупывала и мяла между пальцами.

Помню, как я, всё ещё сонная, наскоро оделась и дед вывел меня через эту дверь к огороду, за которым раскинулась сосновая роща.

Купелей было две, они представляли собой неглубокие каменные бассейны, заполненные водой из подземного источника. Вода в них всегда была ледяной, даже летом. В одной из купелей я увидела бабушку Мишу. Она, закрыв глаза, блаженно улыбалась, словно нежилась в тёплой ванне. Вокруг неё на воде покачивались тонкие осколки льда, похожие на прозрачную плёнку, а ещё на пенку в кастрюле с кипяченым молоком.

Миша была в белой рубахе. Её длинные, как у русалки, и крашенные волосы плавали вокруг, словно рыжая тина, поднятая со дна. Наконец

она стала выходить из купели. И хоть я поначалу побаивалась бабушку Мишу, а потому спряталась за деда, он подтолкнул меня к ней навстречу. Мокрая рубаха облепила её ноги, как на гипсовой статуе, и она всё ещё босая подошла к нам. Поздоровалась с дедом, а потом опустила холодную руку мне на плечо:

— Раздевайся, девочка!

Я сжалась под Мишиной ладонью, посмотрела на деда. Тот кивнул. Тогда я сняла шапку и расстегнула куртку, вот уже осталась в слитном купальнике с кошачьей мордочкой на груди и в ботинках с развязанными шнурками. Мне было холодно, а ещё больше — страшно.

— Разувайся, Софьюшка. И пойдём, — позвал дед.

Между купелями стоял батюшка в рясе и с крестом, тут же в тусклом свете фонарей толпились несколько дедовых друзей, с которыми он любил играть в шашки, и группа молодых парней в плавках — видимо, приезжие.

Я неуверенно пошла вслед за Мишей, точно в полусне. А потом у края купели она вдруг подхватила меня под мышки, словно я была не двенадцатилетней девицей, а малышкой лет пяти, и окунула в воду. Надо ли говорить, что я сразу задохнулась? Раньше я и не подозревала, что холодным можно так обжечься. Меня, плачущую, дед выхватил из воды и закутал в свой тулуп.

А бабушка Миша сказала грубым хрипловатым голосом:

— Свята водица, с Божьей помощью не заболеешь.

Обратно дед нёс меня на руках. Помню, я сказала ему, что боюсь бабушку Мишу, потому что она ведьма. В ответ дедуля покачал головой:

— Она очень несчастная женщина. На ней род умер.

Что это значило, я тогда не поняла. Кстати, после крещенских купаний я действительно не подхватила даже насморк.

Откуда-то возник громкий гул, он вырвал меня из воспоминаний. Звук прокатился между высоких стволов сосен, стороживших станицу. Я закинула голову к небу: на посадку подходил самолёт, он летел так низко, что я видела надписи на фюзеляже. В иллюминаторах горели осколки солнца.

Дед часто рассказывал, что в день, когда началась война, он, двенадцатилетний, во дворе играл с товарищами в салки. Вместе они бегали в клубах пыли, которые поднимали босыми чумазыми ногами. А потом небо заполнили самолёты, закрыв стальными телами солнце. Женщина в красном платье и с развевающимися волосами — это была мать моего деда — выбежала на порог дома. Перекрикивая гул самолётов и срывая голос, она звала сына домой. Именно такой мать и запомнилась моему дедуле — в красном платье с развевающимися волосами.

Моя прабабушка была грузной женщиной. Не сдобной красавицей — пышной и воздушной, как свежая выпечка, а именно грузной. У неё была тяжёлая челюсть, тяжёлая грудь и густые чёрные волосы, убранные в тяжёлый узел на широком затылке. Настоящая казачка. Я видела её фотографии, порывевшие от времени. На одной она стояла в летнем платье на фоне колодца с маленьким дедом на руках, светлые детали на фотокарточке были высветлены до бледно-жёлтого. А на другом фото она же, только лет на десять моложе, в приталенном платье с корсетом на пуговках и с книжкой в руках (по моде дореволюционного времени) сидела у стола, завешенного скатертью. То была фотография с картонным оборотом, на котором с вензелями и ятями значилось название фотомастерской.

Прабабушка умерла через год после вторжения немцев. Её муж ушёл на войну, а мой дед попал в детдом, откуда вышел только в шестнадцать. Он собирался отправиться на фронт с первым же эшелоном, но не успел: на тот момент, когда он готов был ехать, ветер уже играл красным полотном над Рейхстагом.

С моей бабушкой дед познакомился в первую послевоенную зиму. Им обоим было по семнадцать. Он работал на железной дороге, перевозил уголь, а бабушка и её старшая сестра однажды встретились ему на пути — в самом прямом смысле, на рельсах. Состав ездил медленно, управлял им мой молодой дед. А бабуля и её сестра выбрались в лес за хворостом, совсем как в сказке, и случайно рассыпали его на шпалах. Дед увидел девочек-ровесниц загодя и остановил состав. Ему нравилось рассказывать,

что это была любовь с первого взгляда, а бабушка всегда после этих слов смущалась.

Я почувствовала, что неосознанно ощупываю безымянный палец на своей правой руке, теперь на нём не было кольца. В спутанных верушках обнажённых деревьев заскрипела ворона. Я сжала ладонь в кулак и спрятала в карман.

Через два года после первой встречи бабушка и дед поженились. Всю жизнь дед водил составы между близлежащими городками, а бабушка почти пятьдесят лет проработала учительницей начальных классов в нашей станице. До пенсии она даже успела научить читать и писать некоторых моих друзей.

Бабушка верила в разную нечисть — в домовых, леших, банных и кикимор. Зимой примерно раз в две недели она велела деду топить баньку. А дед любил жену разыгрывать. И вот как-то в феврале он спрятался за неприметной дверцей, ведущей из старой бани в заваленный сугробами двор. Я называла ту дверцу «потайной», потому что она была узкой и словно пряталась за печкой. Из самой баньки её было не видеть, да и не пользовались ею никогда на моей памяти. И вот когда бабушка напарилась всласть, отхлестала сама себя ароматным венчиком и завернулась во влажную простыню, дед резко открыл потайную дверцу. На морозную улицу вырвались клубы пара, пахнувшего травами. Дед как завыл! А бабушка, как потом сама рассказывала, обмерла от страха. Она принялась креститься и, роняя вёдра, попятилась к выходу. Помню, я страшно удивилась, когда в окошко увидела, как бабушка в одной простынке и босая, увязая в снегу, бежит к дому.

После этого она не разговаривала с дедом неделю. А потом в знак примирения он подарил ей щенка. Это была обычная чёрная дворняга с забавными висячими ушками. В него сразу же влюбились все без исключения и прозвали его Дворянином. Бабушка просто обожала собаку, даже когда ругала за озорство. Бывало, отлупит пса мокрой тряпкой, а потом целует в большой кожаный нос и прощения просит, как у человека.

Дед и бабушка любили друг друга, много лет жили душа в душу. Лишь однажды, когда моя

мама — их единственный ребёнок — была ещё школьницей, они поругались, да так крепко, что не разговаривали полгода. Тогда бабушка, ещё молодая, собрала вещи, дочь и уехала к своим родителям. В моей семье никогда не обсуждали ту историю, единственное, о чём я знала, что в ссоре была как-то замешана бабка Миша.

Я снова неосознанно коснулась безымянного пальца.

Снег под ногами звонко хрустел, как фруктовый лёд на зубах. Он переливался миллионным разноцветных блёсток, точно подарочная бумага.

Я почти пришла. Вот и она, станица. Каждый поворот, каждый столб мне знаком, да и за последние десять лет станица почти не изменилась. Пока большой город, в котором я жила, менялся с каждым днём, здесь время как будто остановилось — совсем как в дедовых часах.

ГАДАНИЯ

— Ой, девоньки, страшно!..

— Дурочка! Да бросай уже!..

Возбуждённые девчачьи голоса захлёбываются юношью. Самих девочек не видно: их прячет металлический забор, выкрашенный тёмно-зелёной краской.

Что-то пролетает над моей головой и плюхается в снег — я едва успеваю пригнуться. Это старый валенок мужицкого размера из колкой шерсти. Даже не знаю, где сегодня продают такое.

Стучает железная щеколда, калитка открывается, и, словно яблоки из упавшей котомки, на улицу выкатываются говорливые румяные девчонки. Всем им лет по тринадцать-четырнадцать. Гадают, хотят увидеть, куда носком указывает валенок и с какой стороны ждать суженого. Они тарашат на меня глаза, как совы, и жмутся друг к дружке, а одна из них, видимо самая бойкая, в алой вязаной шапке с большим бубоном¹, выступает вперёд и подбирает валенок.

Моё лицо словно маской стянул мороз, но я улыбаюсь. В их возрасте я тоже гадала.

Вспомнилось, как однажды в крещенскую неделю мы с подружками решили подслушивать у старой церкви.

Той зимой я гостила у дедули и бабушки, пока городские школы закрыли на карантин из-за гриппа. В станице было весело, как на бесконечной ярмарке. Целыми днями я набивала синяки на замёрзшем озере или каталась со снежных горок на бабушкином подносе, тайком унесённом из дома, пока та зашивала мои самодельные коньки, доставшиеся от мамы старые ботинки с привязанными к подошве лезвиями.

В тот день мои старики уехали в город: бабушке нужно было сдать анализы. А чтобы я не скучала, мне разрешили оставить с ночёвкой лучшую подружку Алку. Собрались мы ночью девчонок шесть да пошли к заброшенному храму. Из старого предания, вычитанного в книжке, мы узнали, что гадание у церкви — одно из самых страшных. Подслушивать у её дверей нужно поодиночке. И та из нас, которая услышит внутри звон колоколов, в ближайший год выйдет замуж, а той, кому послышится пение, суждено умереть.

Пробираться меж заснеженных могил к церкви было тяжело. Вокруг стояла чернота, жуткая и ледяная, как вода в крещенской проруби. Дорогу мы освещали карманными фонариками. Внутри себя я ощущала зудящее комариным укусом нетерпение. Такое бывает, когда собираешься сделать что-то ужасно интересное.

И вот она, церковь. Тёмная, молчаливая, страшная. На её горбатых от времени стенах, как глазурь с пряника, осыпалась штукатурка, обнажив узкие глиняные кирпичики, которые обжигали ещё в позапрошлом веке. Позолоченные купола потускнели и облупились, как яичная скорлупа.

Алка, конечно, вызвалась слушать первой. Она всегда отличалась храбростью: например, не боялась скатываться с самых высоких горок или вызывать духов. Но как только Алка приблизилась к дверям церкви, украшенным снежными вензелями, внутри тоскливо взвыл высокий женский голос. Мы с подружками так и замерли. А потом дали дёру по домам!

¹ Помпон (простореч.).

Всю дорогу до моего дома мы с Алкой бежали. А уже в сенях под вой Дворянина она прижалась к стене и разрыдалась. Пёс на длинной цепи следом за нами поднялся на крыльцо и стал скрестись у двери, требуя, чтобы впустили.

— Алочка, ну ты чего? — я попыталась обнять подругу, но та отшатнулась, словно это я запела в церкви.

— Сонь, — Алка спрятала лицо в красных рукавичках и смущенно попросила: — одолжи мне свои трусы, я описалась.

На следующий день выяснилось, что компания станичных мальчишек во главе с первым хулиганом Дениской Моховым отодрала доски, которыми было заколочено одно из церковных окон. Ребята пробрались внутрь с магнитофоном на батарейках. Откуда они узнали о гадании — непонятно, но скорее всего кто-то из девчонок проболтался.

После этого Алка и Денис начали враждовать. Пакостили друг дружке целыми днями. Например, Дениска мог подбросить Алке в сандалии головастиков, когда та разувалась, чтобы поплавать в озере. А она в отместку запирала Дениса в старой конюшне, где, если верить сплетням, жил призрак повесившегося конюха. Так они и враждовали до тех пор, пока спустя семь лет не поженились.

Мы с ней вышли замуж в один год с разницей в месяц. Только Алка и Денис до сих пор вместе, дочку ждут.

— ...Можно ещё у старой церкви подслушивать, только это страшное гадание, — говорю я стайке станичных девочек у ворот.

Та, что в красной шапке, вздёргивает подбородок:

— А мы знаем!

Я лишь улыбаюсь в ответ.

Глубоко вдыхаю запах снега. В станицу я приехала меньше часа назад, а кажется, что давно — может, даже год назад. Это всё из-за них — воспоминаний.

НАДГРОБИЕ

Я иду по станице, лёд под ногами густо посыпан рыжеватым песком. Невольно вспоминаю дорогу из жёлтого кирпича в моей любимой сказке². Над головой через один тускло зажигаются фонари. Уж сколько раз местные жаловались в администрацию района на плохое освещение, но фонари по-прежнему работают хуже некуда, а на некоторых участках их нет вообще.

А вот и домик бабки Миши. На улицу выходит три окна цвета слабо заваренного чая. Почему-то я представляю, как там, за дребезжащими от ветра стёклами, она месит тесто. Тугое, ароматное, хватающее за руки, как провинившийся любовник. Спонтанное сравнение веселит меня, и я пытаюсь представить пылкого и отчего-то совсем юного ухажёра бабки Миши, но вместо этого вспоминаю, как мы с ней лепили пирожки.

Мне было лет тринадцать, родители в командировке, а бабушке с дедулей, как иногда случалось, срочно потребовалось съездить в город. Я тогда грипповала, оставить одну меня не могли. Потому утром, хотя я и проснулась на своей любимой «визжащей» кровати, разбудили меня не бабушкины руки. Кто-то чужой шупал мой лоб жёсткой холодной ладонью. Я открыла глаза и вздрогнула, на постели сидела бабка Миша.

— На, выпей компотику. Лехще станет, — она протягивала мне белую кружку в красный горох, над которой поднимался кисловатый парок.

«Она же ведьма! Еще отравит!» — трусила я и не брала кружку.

— Пей, Софьюшка, пей, капелька, — приговаривала бабка Миша.

Ей всё-таки удалось убедить меня сделать глоток. Вариво оказалось кисловато-сладким и невообразимо вкусным. Допила, а спустя полчаса мне действительно полегчало. Или, как говорила Миша, «поলেখшало». К вечеру я чувствовала себя почти хорошо, и вместе мы лепили пирожки. Миша из глубокой миски

² Повесть Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города».

рукой зачерпывала ароматный фарш. Ложкой распределяла его по тонким лоскутам теста и склеивала концы. Прodelывала она это так ловко, точно лепила из пластилина.

Вспомнилось, какие вкусные пироги у нас тогда получились. Говорят, человек не может помнить вкус. А я хорошо запомнила, как перед телевизором наслаждалась тающим тестом и сочной начинкой. Показывали какой-то бразильский сериал, Миша его очень любила.

Тут я почувствовала, что проголодалась. Наконец оторвала взгляд от Мишиних окон. За её домом начиналось кладбище — то самое, где стоит брошенная церковь, у которой мы подслушивали. Кладбище раскинулось по пригорку, оно обнесено покосившейся оградкой. Его стерегут старые деревья; кажется, здесь витает дух сказки. Так и ждёшь, что покажется учёный кот или русалка, сидящая на ветвях.

Именно здесь много лет назад дед впервые показал мне дореволюционные кресты-голубцы. Но больше всего запомнились не они, а простая каменная могилка одной девушки. На момент смерти в 1901 году ей было столько же лет, сколько и мне, когда дед об этом рассказывал, — всего пятнадцать. Что случилось с ней?

«Хворь какая приключилась. Раньше травами лекарничали, не то что сейчас», — ответил дед на мой вопрос. Он часто говорил старинными словами, прямо как герой Гоголя или Островского.

Но мне всегда нравилось думать, что умерла та девочка от несчастной любви. Её надгробие притягивало меня, внушая странный трепет, поэтому каждый раз, приезжая в гости к деду и бабушке летом, я оставляла на могилке ровесницы, умершей больше ста лет назад, полевые цветы.

Так однажды я и встретила на кладбище бабушку Мишу.

Она прибиралась на соседней могиле — маленькой, у самой кладбищенской ограды. Раньше я никогда не обращала на неё внимания. Стоя на коленях, Миша окунала тряпку в жестяное ведро, слегка отжимала её и протирала дубовый крест, на вид очень старый.

Когда она заметила меня, с кряхтением поднялась и, прихрамывая, подошла.

— Это Василийкина могила, — сказала Миша, кивнув на могилу, которую я навещала. — Знала я её младшую сестру Анфиску.

— А вы знаете, почему она умерла? — смутившись от такой встречи, всё же спросила я.

— А чего ж не знать? Знаю. Под лёд она провалилась, заболела да померла. Но душа у ней неупокоенная. Говорят, бродит тут иногда да на надгробии сидит, ножки свесив.

Эти Мишины слова произвели на меня такое впечатление, что я предложила Алке вызвать дух Василийки. Ночью мы заперлись у Алки в комнате, зажгли пахнущую ванилью свечку в стеклянном стаканчике. На листке, выданном из тетрадки по алгебре, мы нарисовали круг с буквами и цифрами, в середине проткнули иголкой крошечную дырочку.

— Дух Василийки, приди! — с придыханием сказала Алка, зажав между пальцами белую нитку, вдетую в иголку.

Мизинец на Алкиной правой руке был слегка оттопырен и кривоват. Когда-то в летнем лагере она сломала его, играя с баскетбол, но Алка всегда боялась больниц, поэтому к врачам тогда не обратилась. А за двадцать дней в лагере кость срослась неправильно — мизинец остался кривым. Теперь я смотрела на Алкин палец и почти не дышала.

— Василийка, ты здесь? — спросила она.

Ей пришлось повторить несколько раз, прежде чем иголка, воткнутая в круг, пришла в движение. Сначала медленно, потом амплитуда увеличилась, игла делала обороты. И тут Алка вскрикнула и отшвырнула иголку, а я зачем-то задула свечу. Мы остались в глухой темноте.

За стеной Алкин папа смотрел футбол. Наверно, в тот момент забила его любимая команда, потому что он вдруг заплодировал.

На следующий день после паломничества к Василийкиной могиле я, отстав от Алки, разговаривавшей по телефону, подошла к дубовому кресту, который накануне протирала бабушка Миша. Крест был потемневший от времени, древесина, изъеденная жучками, треснула посередине. На перекрестье выцарапаны едва различимые цифры: 5.06.44 — 12.08.44. И больше ничего.

БАБКА МИША

О жизни бабки Миши я знала немного, хотя и была знакома с ней с детства. Об этой некогда красивой, а сегодня до омерзения неряшливой женщине шепчутся вот уже несколько поколений станичников. У Миши бледно-серое морщинистое лицо, словно вылепленное из сырой штукатурки, по которой провели скребками. А её волосы в девяносто два года всё ещё длинные и крепкие. Миша красит их в выедающий глаза морковный цвет, и до сих пор, как и десятилетия назад, считается она живой достопримечательностью станицы.

Моя бабушка рассказывала, что Миша родилась через двадцать восемь лет после наступления двадцатого века, что имя ей дали нежное, девичье, в честь прабабки — Михайлина, что происходит она из старинного дворянского рода Ковровых, её прадед был дружен с императором Александром II. По станице ходит легенда, что в семье Миши хранилась реликвия — подарок уже другого императора, Александра III — пасхальное яйцо якобы из коллекции самого Фаберже. По крайней мере, когда-то хранилось — хотя бы до тех пор, пока в голодные годы его не продали или не выменяли на что-то.

У Мишиного деда, известного помещика, умершего незадолго до отречения царя, было двое сыновей: старший — Алексей и младший — Михаил. Алексей сразу после революции эмигрировал во Францию, там и осел.

А младший сын Михаил остался в России и примкнул к красным. Он прошёл Гражданскую войну. Вернулся в станицу со шрамом от штыка через всю щеку. Женится на юной робкой и уже обрюхаченной им доярке Меркуловой Дашке. За свадебным столом тощая невеста с пузом, обтянутым белым кружевом, размазывала слёзы по конопатым щекам, прикрывая лицо фатой в пятнах ржавчины. А молодожён в самогонно-чесночном смраде тискал налитые молоком груди Дашкиной сестрицы Лидки, недавно родившей четвёртого. Лидкин муж не сдержался — смазал Михаилу по физиономии. Так что, когда ближе к ночи он с Дашкой уезжал в украшенной лентами повозке, станичники чесали языками: семья, мол, не выйдет.

В первых числах апреля родилась Михайлина Михайловна, которую прозвали Мишей. Своим появлением она будто бы залатала брешь в семейной жизни родителей. Мишу растили помощницей: та с малого и за скотиной ходила, и в доме убиралась, а подросла, так и пироги стала печь. Годы прошли — Дарья родила сына Никиту, и здесь Миша матери в помощь была.

Когда в сорок первом началась война, отец Миши, которому уже было около пятидесяти, ушёл на фронт. А мать в третью военную зиму заболела пневмонией и умерла. Пятнадцатилетней девочкой Миша осталась с братом — за старшую. А ему и пяти лет не было. Кое-как вдвоем выживали. Скоро и Никита слёг с неведомой хворью, через три дня лихорадки ушёл вслед за матерью. А потом Мише принесли похоронку и на отца. Так осталась она совсем одна.

По станице Миша ходила с опухшими от слёз глазами, ни с кем не разговаривала. Но спустя несколько месяцев вдруг округлилась, стала толстой и неповоротливой. В станице зашептались: какой ветер надул такую напасть? И мужиков-то не осталось, кроме дряхлых старцев да малолетних детей. Неужто Петька-идиот, который в тридцать лет всё ещё пускал слюни и ходил под себя? А может, солдатик залётный? Так народ и не узнал правды. Родила Миша девочку, но та умерла ещё во младенчестве. По естественным ли причинам, война ж всё-таки шла? Или Миша её подушкой придавила? Или опоила чем? А мало ли?.. Местным было о чём языками трепать.

Лет до десяти я боялась Мишу, соседские ребята говорили, что она ведьма. Еще бы, жила Миша нелюдимо. Если приходилось с кем разговаривать, слова бросала отрывисто, грубо. Голос у неё хриплый, что не мудрено: Миша целыми днями посасывала трубку. Табак она выращивала сама, сушила на чердаке, подвесив к потолку связанные метёлочки. Дети принимали сохнувший табак, который было видно через распахнутое чердачное окошко, за травки для колдовских отваров.

Домик у Миши маленький, но аккуратный. Весь такой пряничный, с резными ставенками, расписанными потускневшей краской.

Стены всегда чисто выбелены, а забор почему-то разноцветный, как в детском саду. Странно, что такая неопрятная женщина следит за домом. Словно на себя она махнула рукой, дескать, «я-то что, я давно пропала».

Ещё на своём участке Миша растит алычу, которую мы с ребятами называли дичкой.

Деревья у неё страшные, все искорёженные, гнутые. На стволах бородавками растут шипы. В моём детстве они только подтверждали догадки о магических способностях хозяйки. Но всё равно Мишина алыча кружила нам головы своим ароматом. Его хотелось не вдыхать, а пить глоток за глотком и пьянеть, как пьянел толстый Мишин кот, которого мы подпаивали валерьянкой и смотрели, как он блаженно катается по земле. Правда, сами плоды на «ведьминых» деревьях были такими же кислыми, как выражение Мишиного лица, с которым она гоняла нас сорговым венником. На нём она, наверное, и летала, когда в станице засыпали все, даже собаки.

По сей день невымытые волосы Миша заплетает в тугую косу. На вид коса у неё такая крепкая, что, кажется, её можно использовать вместо верёвки для колодезного ведра. Пахнет от Миши чем-то кислым и тухлым, какой-то смесью гнилых яблок и прокисших тряпок, а в уголках её тонких дряблых губ всегда заиды³.

Ходит Миша в длинной грязной юбке без исподнего. Однажды, когда мне было лет семь или восемь, я видела сквозь щель в нашем заборе, как она остановилась посреди улицы, огляделась, проверяя, нет ли кого рядом, потом подняла юбку и присела, расставив ноги. Завершив дело, Миша промокнула меж ног краем подола и спокойно пошла дальше, оставив после себя желтоватую лужицу.

ПОЖАР

Я пробираюсь между могил с большим трудом: снега навалило почти по колено. Чувствую, как он попадает в ботинки, сразу тает — ногам становится мокро и зябко. На фоне закатного неба выделяется чёрный кон-

тур церкви, словно вырезанный из бумаги. Сейчас, подсвеченная сзади, она кажется мне плоской, словно это декорация. Когда я подхожу ближе, то уже могу различить узкие заколоченные окна. Почему эту церковь до сих пор не снесут? Она такая жуткая. Я невольно морщусь и стараюсь не смотреть. Кажется, внутри, за этими горбатыми от времени стенами, лежит панночка и только и ждёт, когда взойдёт луна, чтобы тоже подняться из гроба.

Я наклоняюсь над старинным надгробием и счищаю с него снежную крупу. Время почти полностью поглотило надпись с ятями. «Голубке нашей, возлюбленной дочери, сестре и внучке», — подсвечивая фонариком, в который раз читаю знакомые слова. «Внучке...» Страшно, когда дети умирают раньше родителей, но, наверное, ещё страшнее, когда внуки уходят раньше стариков. Эта девочка умерла в пятнадцать от пневмонии. Сегодня её бы скорее всего спасли.

«С Рождеством, Василийка!»

Я разговариваю с ней мыслями. Чтобы общаться с умершими, не нужно говорить вслух.

Что-то яркое мелькает справа, я вздрагиваю и поворачиваю голову. Герберы размером с мою ладонь — пылающие, призывные. Совсем как живые. Они стоят в голубенькой вазе под старым дубовым крестом. Это та могила, за которой ухаживает бабка Миша. Цветы ещё не успели задубеть от мороза, видимо, их принесли сегодня.

Цифры на перекрестье 5.06.44—12.08.44 теперь наведены чёрным фломастером.

Другое надгробие вспомнилось мне — оно стоит на детской могилке на кладбище в городе, откуда я приехала. Цифры на чёрном мраморе: 17.09.2019—21.10.2019. Слезы навернулись на глаза, голова закружилась, и я присела на утонувшую в снегу скамеечку. Нет, не сейчас, только не сейчас... Сегодня я приехала к деду с бабушкой. Я знаю, в сочельник они ждут меня. Наконец беру себя в руки. Передохнув несколько минут, я бреду на современную часть кладбища.

Тусклый свет фонарика ведет меня знакомой дорожкой. Нашла надгробие из серого мрамора, а на нём чёрно-белая фотография — портрет красивой молодой пары. Даже на этом фото оба

³ Заеды (*простореч.*).

с глазами чистыми и счастливыми, как... (По привычке подбираю сравнение.) Придумала: как хрусталь, который бабушка всегда начищала до сверкания. Мои дед с бабушкой такие юные и счастливые — на фото только-только поженились. Бабушка в светлом платьице в горошек, с косами вокруг головы, дедушка в белой рубашке с короткими рукавами.

Опускаюсь на колени, стряхиваю снег с фотографии, затем достаю из рюкзака искусственные цветы. Они слегка помялись, и паразитических лепестков летними бабочками спорхнула на снег.

«Я теперь на телике работаю, снимаю сюжеты про всякие важные события и про сельское хозяйство, дедуль...»

С ними я разговариваю так же, как с Василийкой, не проронив ни звука. Снимаю влажную от растаявшего снега варежку и чешу хлюпающий нос.

«Бабушка, я ношу твой крестик, он и сейчас на мне. А ещё я научилась варенье закатывать».

Баночку варенья из персиков (дед очень любил) и баночку малинового (бабушка обожала с молоком) выуживаю из недр моего рюкзака и ставлю у самой плиты. Банки закрыты, но мне кажется, я чую аромат июньского утра, когда солнце врывается в комнату, как только бабушка распахивала ставни. Оно смеялось и щекотало меня лучами, вытягивая из постели: «Скорее поднимайся! Пора радоваться новому дню!»

А потом всегда был завтрак. Бабушка частенько жарила оладушки или блинчики. А к ним на стол в старых хрустальных розетках ставила сгущёнку, сметану и варенье двух видов. Одно — персиковое, потому что дед вырастил два прекрасных персиковых дерева, которые плодоносили и после его смерти, пока отец их не спилил. И малиновое — малина в избытке росла на бабушкином огороде.

«С Рождеством вас. И... я очень скучаю».

Выйдя с кладбища, я свернула налево, к домам. Шла в своих мыслях, вспоминала прошлое и почти не разбирала дороги. А когда поняла, куда иду, стало жутко. Впереди у кромки леса пугающе темнел остов сгоревшего дома.

Он вспыхнул в рождественский сочельник два года назад. Старая печка, дедова забывчивость, деревянный пол... Изба занялась, как голловешка. «Старики не сумели выбраться» — примерно так звучала официальная версия.

Я до сих пор помню телефонный звонок ночью. Это звонила мама. Я уже легла и спронея не сразу разобрала, что происходит. Мама кричала в трубку... кричала и плакала. А через полчаса мы уже ехали в станицу по замёрзтённой снегом дороге. Иногда машина пробуксовывала, иногда скользила по молодому льду. И я втайне надеялась, что мы так и не доедем. Но мы доехали. На узкой станичной дороге нам пришлось остановиться и сдать назад, пропуская две пожарные машины. Те возвращались в город.

Дом выгорел полностью, только старая банька осталась нетронутой да собачья будка, притулившаяся возле неё. Огонь погас, но вокруг все ещё толпились соседи. А Дворянин, выросший в пушистую крупную собаку с хвостиком-баранкой и умной продолговатой мордой, сидел на цепи и выл.

В ту ночь я впервые попробовала крепкую дубовую настойку бабы Миши и через несколько минут уже крепко спала. Один ли спирт так одурманил меня? В пережитом ли дело? Или в моём положении? Я уже была беременна, только не знала об этом. Уснула прямо у бабы Миши на коленях в чадающем свете керосиновой лампы. А похорон я почти не помнила. Да и вообще жила в те страшные дни как в замедленном кино, без чувств и эмоций.

Дворянин, которого забрала к себе баба Миша, слдох через неделю. Как-то утром она вышла с миской похлёбки, а он лежал возле своей новой будки, и снежинки, опускаясь на его большой кожаный нос, не таяли.

Много позже на пепелище я нашла дедовы часы на длинной цепочке и бабушкин крестик. Они потемнели и закоптились, но огонь не смог их уничтожить.

Ветер усилился, теперь он пронизывал меня насквозь, как рентгеновские лучи. В этот вечер мне захотелось заглянуть к Мише. Она здесь единственный живой человек, который связывает меня с детством.

В Мишиных окнах горел свет. Почему я не прихватила ещё одну баночку варенья? Я же много накрутила, правда, из магазинных персиков, зато крупных. Хотя, признаться, моё варенье всё равно получилось не таким, как варила бабушка.

В окне кухни сквозь тюлевые занавески я с улицы разглядела Мишу в красном халате. Она поставила на конфорку старый чайник-свистульку. Я подобралась поближе и поскреблась в оконное стекло. Миша услышала, отдёрнула шторы, вглядываясь в сумеречную улицу.

— Софьюшка! Капелька! Проходи, моя хорошая!

В сенях она крепко меня обняла. От неё пахло чем-то сладковато-кислым, как и в самом доме, а ещё — невымытыми волосами. Я знала, что у неё до сих пор нет ванны.

Миша впустила меня в дом и провела на кухню. Я уселась спиной к окну, в которое только что скреблась. От тюля пахло пыльной горечью.

— Баб Миш, извини, я с пустыми руками.

В ответ она только улыбнулась и поставила передо мной вазочку с сушками и конфетами в ярких фантиках. В кухню вошла пятнистая кошка с самым кошачьим именем Мурка. Когда-то именно от Миши я узнала, что трёхцветными бывают только кошки, а ещё что они приносят счастье. Много ли счастья принесла ей эта Мурка?

Засвистел чайник, Миша достала две кружки с позолоченными ангелами и бросила в каждую по чайному пакетику. Чай был самый дешёвый, кружка липкая — как говорит моя мама, «рукой не потянуть».

Миша села за стол напротив меня, и вдруг я спросила:

— Баб Миш, могилка на кладбище, где рождение и смерть датированы одним годом, а ещё стоят герберы в голубой вазочке... Там ваша дочка?

Между нами повисло молчание. Лишь негромко бормочет радио, наверное, «Маяк», что же ещё может слушать Миша? Слышно, как за окном буксует в снегу машина. Бурчит вода в батарее за моей спиной.

Бабка Миша с прежней улыбкой смотрит на меня, а потом говорит так спокойно, словно

мы только что обсуждали что-то незначительное, погоду, например.

— Да, моя и деда твоего.

Несколько минут мы молчим, только кошка мяукает, требуя наполнить миску. Миша встаёт и ковыляет к шкафчику, откуда достаёт кошачью консерву.

— А бабушка... — я с трудом подбираю слова, — знала?

— Знала, — так же спокойно отвечает Миша.

— Твой дед тогда детдомовцем был. Мы с ним в лесу встречались.

Я начинаю плакать, слёзы жгут глаза.

— А чего ты ревьешь? Я вот тоже ревел, когда он жениться обещал, да так и не женился. Что толку реветь-то?

Миша смотрит так, что становится страшно.

— Не опоздаешь на автобус до города? — спрашивает вдруг холодно — меня словно сквозняком прошибло.

А потом отворачивается, чтобы положить кошачью консерву в миску, ставит её на вздувшийся линолеум. Мурка принимается с жадностью чавкать.

Я поднимаюсь из-за стола.

— Сонь, погодь-ка, у меня тут сука ошенилась, а сама подохла. Надобно удавить щенков. Возьмёшь одного?

В город я возвращаюсь с крошечным, ещё слепым щенком за пазухой. Он похож на Дворянина. Я плачу, уставившись в оконное стекло, у меня так много вопросов, но их некому задать.

На небе крошечным стразом мерцает первая звезда. Иисус родился.

О ЧЁМ НЕ РАССКАЗАЛА БАБКА МИША

6 января 2019-го, 23:45

Убедившись, что пламя занялось, Миша швырнула пустую канистру на ступеньки крыльца. Услышал только Дворянин, выскочил из будки и рванул к дому, но его удержала цепь.

— Удушишься, кобель безмозглый! — усмехнулась бабка, а он тихонечко завыл.

Домашние тапки быстро промокли от снега, и ноги старухины онемели. А ещё ныло больное колено. В непогоду оно распухает и щёлкает при каждом шаге. В воздухе уже потянуло горелым, но она ковляла к своему дому, не оборачиваясь. Войдя в дом, прошла в комнату и, не зажигая света, плюхнулась в продавленное кресло, едва не придавив кошку.

— У, пошла, стерва! — ругнулась Миша.

Стерва — это ведь падаль, гниющее животное. Почему же так называют подлых баб?

Знала Миша: и саму её в станице так кличут за глаза. И правда, в старости она стала похожа на живую падаль. Чем дряхлее становилась, тем чаще спрашивала у себя: «Зачем так долго жить? Для чего? Только воздух трачу без надобности, а поди кому другому нужнее».

Сейчас, когда соседний дом полыхал пожаром, Миша сидела в темени. Уж сколько ей этого часа ждать пришлось! А ведь и понятно: дети-то и внуки их ни при чём.

Посидев еще чуток, Миша положила на колени дисковый телефон, который заранее заготовила возле кресла. Он звякнул, окаянный. В кармане Мишиного передника лежали клочок бумаги и очки, но не пригодилось ни то, ни другое — сидела-то в темноте.

Откинув занавеску с окна, в свете луны наб-

рала номер по памяти. Ошиблась. Со второй попытки попала правильно.

— Катенька, дом родителей твоих горит! Приезжай, моя хорошая! — скороговоркой выпалила Миша, едва услышав на другом конце знакомый голос. Сразу повесила трубку и шнур выдернула, чтобы не перезванивали.

Поднимаясь с кресла, охнула от боли в колене и всё же впотьмах потащилась в кухню. Достала дубовую настойку и табак.

— Вот шельма! — заворчала. — Засох! И не раскуришь! Но ничего, надо с апельсинными корками — и в холодильник, чтоб размокал. — Миша плеснула себе в рюмку настойки. — За твой упокой, Никифор Палыч! И суку твою с собой забирай!

□

Илона ДОМАРЕВА

окончила Северо-Кавказский государственный университет,

по образованию — актриса.

Работает в журналистике.

Член Союза журналистов России.

Увлекается литературным творчеством.

Лауреат конкурса «Северная звезда» (2021)

в номинации «Проза».

В журнале «Север» публикуется впервые.

Живет в Ставрополе.

